
Глава XII

ЦЕНА ПОБЕДЫ: 1956—1957

От поражения в Венгрии Хрущев спасся страшной ценой. Развитие событий подтвердило: Сталин был прав, когда предсказывал, что наследники погубят созданную им империю. Правда, Хрущев старался сделать хорошую мину при плохой игре. «Все решилось в один день, — записал Мичунович его слова, сказанные 7 ноября. — Сопrotивления практически не было. Кадар — хороший коммунист, он сумеет укрепить власть»¹. Однако радость Хрущева на праздновании годовщины Октябрьской революции (он разговаривал с Мичуновичем незадолго до торжественного приема в Георгиевском зале; Хрущев был в строгом темном костюме с двумя золотыми звездами на груди) была напускной. На самом деле он был мрачен и погружен в депрессию. Венгерский кризис усугубил его неуверенность в себе. После первого потрясения он удвоил усилия по укреплению своих позиций. Но все его действия выглядели судорожными, беспорядочными — и вместо того, чтобы упрочить положение, к лету 1957 года привели его на грань катастрофы.

В день, когда советские войска начали боевые действия в Венгрии, Хрущев излил свое недовольство на членов Президиума. Когда Молотов упрекнул новое правительство Кадара за критику режима Ракоши, Хрущев отрезал: «Не понимаю товарища Молотова. Вреднейшие мысли вынашивает». А два дня спустя обрушился на Кагановича: «Товарищ Каганович, когда ты исправишься и откажешься от подхалимства?»² 12 ноября Хрущев выглядел «озабоченным, как человек, страдающий от серьезных проблем». Когда Мичунович в разговоре с ним упомянул о XX съезде, Хрущев пробормотал: «А теперь некоторые думают, что те наши решения всему виной».

Встреча с Хрущевым растянулась почти на три часа. Никогда еще Мичунович не видел своего собеседника «в таком состоянии». Ярость Хрущева вызвала речь Эдварда Карделя, помощника Тито, в которой отразилось охлаждение советско-югославских отношений после интервенции в Венгрию; особенно возмутили Хрущева слова Карделя, в которых он усмотрел прямой намек на себя: «политика майцы [кукурузы] и картошки». Больше месяца спустя Хрущев все еще выходил из себя, вспоминая об этом; он не сомневался, что Кардель хотел посмеяться именно над ним — ведь «всем известно, как Хрущев интересуется сельским хозяйством»³.

В ноябре Молотов был назначен министром государственного контроля (то есть надзора за исполнением решений правительства) — должность не столь важная, как министр иностранных дел, однако показывающая, что он возвращается в большую политику. Кроме того, Хрущев резко изменил тон в разговорах о Сталине. На многолюдном приеме для дипкорпуса и советской элиты в канун Нового года он поразил присутствующих, заявив, что и сам, и его коллеги по-сталински бескомпромиссно борются с классовым врагом. А три недели спустя, перед восемьюстами гостями на приеме в китайском посольстве, объявил, что «быть коммунистом — значит быть сталинцем», хотя в борьбе за марксизм-ленинизм Сталин и допускал «ошибки», и что «дай бог, чтобы каждый коммунист боролся за интересы рабочего класса так же, как Сталин». Враги коммунизма, продолжал он, пытаются использовать критику ошибок, допущенных Сталиным, во вред советскому строю. Но «ничего у вас не выйдет, господа, не видать вам успеха, как своих ушей без зеркала!»⁴

Новая линия в отношении Сталина была не только тактическим отступлением, но и отражением внутренних метаний Хрущева. Эти метания проявились даже в одном из его праздничных выступлений перед комсомольцами, обычно совершенно формальных и бессодержательных. В этом выступлении 8 ноября он набросился с упреками на Микояна — якобы за то, что тот сомневается в перспективности освоения целинных земель, но в глубине души, возможно, Хрущеву хотелось выместить на нем гнев в первую очередь за то, что тот поддерживал десталинизацию и возражал против жестких мер в Венгрии⁵. На приеме в китайском посольстве Хрущев неожиданно заговорил о своем преклонном возрасте: позже было подмечено, что о своих годах Хрущев публично вспоминал еще несколько раз, и всегда — в тяжелых ситуациях⁶.

Кризис в Польше и Венгрии, вызванный XX съездом, повлек за собой брожение в самом Советском Союзе. 25 октября не где-нибудь, а в клубе Министерства внутренних дел студенты Московского государственного историко-архивного института провозглашали тосты за развитие Польши и Венгрии и за «четвертую русскую революцию». Студенты МГУ открыто спорили со своими лекторами, когда те пытались оправдать вторжение. В Ленинграде распространялись самиздатовские журналы. Во время демонстрации 7 ноября в Ярославле школьники, шагавшие в рядах демонстрантов мимо местных партийных активистов, развернули большой плакат с призывом вывести войска из Венгрии. Примерно в это же время юный Владимир Буковский (в будущем — знаменитый диссидент брежневской эпохи) организовал тайное общество «петрашевского» типа, разделенное на пятерки, члены которых не должны были знать друг друга; правда, никакими делами это общество себя не проявило⁷.

Волновалась не только молодежь. Согласно рапортам КГБ, знаменитый физик Лев Ландау открыто возмущался попытками оправдать интервенцию: «Как можно этому верить? И вы верите этим мясникам? Они же мясники, убийцы!» Биолог Александр Любищев связывал мятеж в Венгрии с антисталинской речью Хрущева: «Он сделал больше, чем “Голос Америки” и “Радио Свобода” вместе взятые». Когда первый секретарь Московского горкома партии Екатерина Фурцева попыталась успокоить разбушевавшееся собрание в Московском институте геодезии и картографии, участники собрания большинством голосов запретили ей вмешиваться. Когда наконец ей все-таки дали слово, она попыталась успокоить собравшихся («Вы хотите больше узнать о событиях в Венгрии? Вы совершенно правы. Это мы виноваты, что даем так мало информации») и даже выразила готовность поддержать требование о роспуске комсомола, превратившегося в бюрократическую организацию. Правда, едва ей удалось покинуть зал, наиболее активных протестующих схватили и отправили под арест⁸.

В Севастополе, на хлебозаводе, неизвестные изрезали ножом четырнадцать портретов руководителей. В Серпухове рабочий изуродовал портрет Хрущева. В докладе Хрущеву от 5 декабря первый секретарь Ленинградского обкома Фрол Козлов приводит слова какого-то рабочего: если условия жизни не изменятся к лучшему, то «у нас будет то же, что в Венгрии». Согласно другому официальному докладу, некий автомобильный конструктор из Ярославля, тридцати одного

года, член партии, характеризовал партийную политику как: «Молчи — или попадешь за решетку» и спрашивал: «Неужели урок Венгрии ничему нас не научил?» Он же приводил слова своего товарища, побывавшего во Франции: «Они там скорее согласятся умереть, чем жить, как мы»⁹.

Таких протестующих было немного, и они были разоб- шены. Однако отчуждение народа вызвало в руководящих кругах настоящую панику. 19 декабря на заседании ЦК принимается секретное письмо всем партийным органам, подготовленное специальной комиссией с Брежневым во главе¹⁰. Упомянув, что «враги поднимают голову», автор письма настаивал на том, что «диктатура пролетариата» должна «безжалостно» «пресекать эти преступные действия»¹¹. Однако само это письмо подняло в партийных кругах еще больше шума и беспокойства. В начале 1957 года несколько сотен протестующих были арестованы и приговорены к заключению сроком до семи лет. В первые три месяца этого года Верховный суд РСФСР рассмотрел тридцать два дела о «контрреволюционной деятельности», а в последующие шесть недель — еще девяносто шесть. Многие дела пересылались в Верховный суд местными следователями для ускорения процессов. Среди «контрреволюционеров» были: школьник, которого поймали с «антисоветским плакатом», студент, «открыто делавший антисоветские заявления», и рабочий, наклеивший на забор «антисоветскую листовку». Все они были осуждены по печально известной 58-й статье сталинского УК. Та же судьба постигла многих из тех, кто писал анонимные письма в газеты — они не знали, что эти письма переправляются в КГБ. А всего через несколько месяцев Хрущев заявил во всеулышание, что в СССР больше нет ни одного политзаключенного¹².

Были у Хрущева и хорошие новости. Благополучное разрешение Суэцкого кризиса (подробнее мы расскажем о нем в следующей главе) он рассматривал как триумф своей внешней политики. С целинных полей собрали рекордный урожай¹³. С другой стороны, новый, шестой пятилетний план, принятый на XX съезде, оказался настолько нереалистичен, что его пришлось пересматривать — в декабре 1956 года, на пленуме ЦК, где имя Хрущева почти не упоминалось, а его протее Шепилов был выведен из Секретариата ЦК¹⁴. Неудивительно, что Хрущев немедленно отправился в долгую поездку по сельскохозяйственным регионам, награждая медалями местных руководителей («Такой массовой раздачей орденов и медалей здесь, кажется, еще не бывало», — записал у себя в дневнике Мичунович 14 января 1957 года) и на-

помяная им, что они всем обязаны ему, а не Молотову и не Маленкову. В этот момент он вел себя как американский политик, ведущий избирательную кампанию — и, пожалуй, с 1956 года сходство и вправду было налицо¹⁵.

Все эти поездки Хрущева знаменовали собой своего рода контрнаступление, этапы которого проявились в радикальной индустриальной реформе, обещании «догнать и перегнать Америку» и первом конфликте Хрущева с творческой интеллигенцией. Стремясь продемонстрировать свою способность динамично и решительно руководить, Хрущев серьезно подорвал свои позиции на нескольких фронтах.

В феврале Хрущев предложил упразднить большую часть экономических министерств и заменить их региональными экономическими советами¹⁶. В этом был некоторый резон: в самом деле, сложно управлять из Москвы огромным хозяйством, расположенным в одиннадцати часовых поясах. Кроме того, у децентрализованной системы управления был шанс пережить ядерную войну. Реформа Хрущева имела и политический смысл: местные партийные руководители, которые получали возможность управлять этими советами, были в основном его сторонниками, а министры и плановики, опасавшиеся изгнания в провинцию (в СССР — наказание похуже смерти), естественным образом оказались на стороне его критиков.

У хрущевской системы были защитники; некоторые одобряют ее и сейчас¹⁷. Однако, хотя центральным министерствам в самом деле не хватало знания местности и внимания к местным нуждам, при новой системе должно было пышным цветом расцвести местничество и невнимание к глобальным интересам страны. Если бы реформа была чисто экономической и проводилась постепенно, можно было надеяться на успех; но Хрущев рассматривал ее как политическую акцию и слышать не хотел об отсрочках. Правда, перед принятием нового закона (10 мая 1957 года) он разрешил ограниченную «общенациональную дискуссию» в прессе. Однако само преобразование — создание ста пяти экономических советов, по числу регионов — совершилось буквально за несколько дней.

Молотов и Каганович возражали против этого плана — и не они одни. Молотов настаивал, что преобразование «не подготовлено». «Хрущев испортил неплохую идею, — писал позже Каганович. — При правильной организации она могла бы принести пользу, если бы не стремление Хрущева от-

крывать свою “эврику” в мировом масштабе»¹⁸. Когда Фрол Козлов представил план преобразования ленинградским партактивистам, те засыпали его вопросами: что будет с работниками расформированных министерств? Что станет с жильем и коммунальными службами, принадлежащими министерствам?¹⁹ Управленцы и экономисты критиковали отдельные разделы нового закона (но, боже упаси, не всю реформу в целом). Скоро критики Хрущева начали использовать против него его любимые риторические приемы — анекдоты, пословицы и поговорки: Мичунович записал, что новую реформу сравнивают с «тришкиным кафтаном»²⁰. После провала антихрущевского заговора член Президиума Фурцева назвала критику экономического регионализма «вражескими выступлениями». Правда, она не уточнила, что сама была растеряна, когда началась, по выражению Шепилова, «эпопея» с региональными советами. «Я экономист, — рассказывал Шепилов, — и мне было ясно, что децентрализация необходима. Но здесь надо было все тщательно продумать». Шепилов вспоминал, как Фурцева восклицала: «Что же делать? В эти советы назначают людей, о которых мы даже никогда не слышали. Все сгоряча, все не продумано!»²¹

22 мая в Ленинграде Хрущев заявил, что в ближайшие годы СССР догонит и перегонит США по производству мяса, масла и молока на душу населения. Мысль о том, что социалистическое хозяйство способно за несколько десятков лет добиться того, на что капиталистическим странам потребовалось несколько столетий, была одним из догматов большевистской веры. И в самом деле: коллективизацию и индустриализацию удалось провести почти мгновенно — неужели же с каким-то там мясом-молоком будут проблемы? Однако скоро выяснилось, что конкретные задачи порой оказываются намного сложнее глобальных.

Хрущева вдохновляли недавние успехи сельского хозяйства: с 1953 года прирост производства мяса составил 162 %, молока — 105 %, зерновых — 189 %. (Он почему-то полагал, что этот рост будет продолжаться. Но даже если так — США ведь тоже не стояли на месте.) После сорокадневной поездки по американскому Среднему Западу министр сельского хозяйства Владимир Мацкевич подтвердил то, в чем Хрущев и так не сомневался: сельскохозяйственным изобилием Америка обязана не капиталистическому строю, а большим фермам, трудолюбию и изобретательности фермеров, а также широкому распространению кукурузы.

Поначалу Хрущев говорил о «нескольких годах» или «ближайших годах», не называя конкретные сроки. Чтобы

догнать Америку, сказал он, необходимо увеличить поступление мяса на 1956 год в 3,2 раза... и вдруг, не в силах сдержаться, добавил: «Уже к 1960 году мы догоним Соединенные Штаты по мясу на душу населения!»

Подобные прогнозы не делаются без предварительного утверждения Президиума, но Хрущев говорил на свой страх и риск. От предупреждений экономистов он благодушно отмахивался: «Я попросил экономистов выяснить, сможем ли мы догнать США по производству продуктов питания, которые я упомянул. Скажу вам по секрету: они мне принесли бумагу — вот такую, с подписями, даже с печатью. И там было сказано: если мы увеличим производство мяса в 3,5 раза, то догоним США к 1975 году! [Смех в зале.] Извините меня, товарищи экономисты, если я задел больное место».

Экономисты, продолжал Хрущев, «с точки зрения арифметики» были правы; однако они не учли, на что способен советский народ. «Иногда человек способен сделать нечто такое, что, казалось бы, превыше его сил. Что ж, пусть наши оппоненты посмотрят, на что способен рабочий класс». А скептики пусть посмотрят на Калиновку. Если его родная деревня смогла так чудесно преобразиться за годы социализма — «кто сказал, что мы не сможем выполнить задачу, которую перед собой поставим?»²².

Именно эта импульсивность и вызвала основной удар критики. «Подошел к нам, — вспоминал Каганович, — с хвастливым видом изобретателя “великой идеи”». Когда члены Президиума предъявили ему статистические данные, опровергающие его прогноз, — он «сердился, грозно подымал свой маленький кулачок, но опровергнуть цифры Госплана не смог»²³. По словам тогдашнего союзника Хрущева Алексея Косыгина, «Молотов потратил немало времени, собирая материалы, доказывающие, что никто — ни партия, ни народ, ни руководитель сельского хозяйства, ни крестьянство — не сможет обогнать Америку по производству мяса»²⁴. Однако Хрущев не сдался — напротив, повторил свое обещание в интервью, данном телекомпании Си-би-эс. Услышав о том, что американские специалисты называют его прогноз нереалистичным, Хрущев уступил им один год — уточнил, что, возможно, СССР обгонит США не в 1960-м, а в 1961-м. «Но если и так, — шутливо добавил он, — мы не очень расстроимся, и советский народ на ЦК и партию за это в обиду не будет»²⁵.

Увы, обещания Хрущева не сбылись и тридцать лет спустя.

Среди областей жизни советского народа, контролируемых партией, литература, конечно, стояла далеко не на первом месте; однако в своем стремлении держать под контролем интеллектуальную жизнь народа советские лидеры не могли не уделять внимания культуре. Процесс, позже названный «оттепелью», потихоньку начался сразу после смерти Сталина, однако обрел силу только после XX съезда. После долгой ночи позднего сталинизма, вспоминает Майя Туровская, «явление Хрущева и XX съезд стали для нас настоящими именинами сердца»²⁶. В повести Ильи Эренбурга «Оттепель», давшей название целому десятилетию, подвергались жесткой критике представители правящей элиты. Само по себе это было не в новинку для читателей: новостью оказалось то, что такие функционеры изображались не как «пережитки гнилого прошлого», а как плоть от плоти советской системы. Поначалу власти поощряли критику снизу, но затем, испугавшись, начали травить писателей и увольнять тех, кто их издавал²⁷. На первых порах роль Хрущева в этом процессе была невелика: стремясь укрепить свой авторитет, он опасался вмешиваться в вопросы культуры. На Украине ему уже случилось быть и покровителем, и гонителем искусств в одном лице, ту же роль приходилось играть и в Москве. Он по-прежнему неловко себя чувствовал в обществе писателей и художников, особенно на больших собраниях, где законодателем становился он, но судьями — его слушатели. Идеологическая дисциплина, на которой настаивал Хрущев, вызывала у творческих людей естественное отторжение; неудивительно, что отношения были напряженными с самого начала. Люди искусства не понимали, что их нескрываемая неприязнь подрывает не только партийную линию Хрущева, но и его самооценку. Вот почему столкновения с «творческой интеллигенцией» заставляли его буквально набрасываться на аудиторию, раздражаться гневными оборонительно-наступательными речами, грубыми и бессвязными; таким поведением он, естественно, не только не достигал цели, но и еще более отталкивал от себя образованных и культурных людей.

Секретный доклад Хрущева на XX съезде подбодрил авторов либерального образа мыслей. Среди новых книг в 1956 году появился роман «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, роман об инженере-идеалисте, преследуемом безмозглыми и бессовестными бюрократами. В ноябре 1956 года вышел альманах «Литературная Москва» — собрание прозы, поэзии, драматургии, литературной критики и статей на общественно-политические темы. В стихотворении одно-

го из его редакторов, Маргариты Алигер, высмеивался штампованный образ «нового советского человека», а в поэме молодого Евгения Евтушенко «Станция Зима» отмечалось огромное влияние, оказанное десталинизацией на молодое поколение²⁸.

Партийные пропагандисты пытались прикрикнуть на писателей — но впервые за несколько десятилетий писатели отказались повиноваться. В марте 1957 года на собрании Московского союза писателей некоторые из них, в том числе Дудинцев и Алигер, проявили то, что власти заклеями ярлыком «нетерпимости к критике»²⁹. Хотя Хрущев и пятился назад, к сталинизму, громить литературу он пока опасался. В конце концов именно интеллигенция поддерживала его, когда сталинисты наступали со всех сторон! Однако скоро Хрущев понял: с такими союзниками, как независимые, неуправляемые, свободомыслящие люди искусства, врагов ему не потребуется. Вот почему в мае он присоединился к грому.

На встрече с партийными лидерами 13 мая 1957 года члены Союза писателей не знали, чего ожидать, — однако, вспоминает Вениамин Каверин, была «надежда, что Хрущев поддержит “либеральные” тенденции в литературе». Собрание продолжалось весь день — яркое свидетельство тому, с какой смертельной серьезностью подходила партия к вопросам «культурного строительства». Хрущев говорил последним; речь его продолжалась почти два часа. Та часть его речи, что была подготовлена заранее, звучала весьма предсказуемо: некоторые писатели «односторонне и неправильно поняли сущность партийной критики культа личности Сталина», истолковали ее как «полное отвержение всего, что сделал И. В. Сталин для партии и страны»; роман Дудинцева, несмотря на «сильно написанные страницы», «фальшив в своей основе»; в «Литературной Москве» содержатся «идеологически порочные» произведения. Однако кое-что Хрущев счел нужным добавить от себя.

По словам Каверина, речь его была похожа «на обваливающееся здание». «Начал он с заявления, что нас много, а он один. Мы написали много книг, но он их не читал, потому что, если бы он стал их читать, его бы “выгнали из Центрального Комитета”». Потом в середину его речи ворвалась какая-то женщина “нерусской национальности”, которая когда-то обманула его в Киеве. За женщиной последовал главный выпад против Венгрии с упоминанием о том, что он приказал Жукову покончить с мятежниками в три дня, а Жуков покончил в два. Вот здесь, кажется, он и перешел к “кружку Пете-

фи”, подражая которому некоторые писатели попытались “подбить ноги” советской литературе».

Во время этой тирады на сцену поднялась Маризтта Шагинян, армянская писательница, начинавшая свою карьеру с модернистской поэзии, а при Сталине ставшая «живым классиком». Само появление старухи со слуховым рожком, приставленным к уху, вызвало оживление в аудитории; но еще больше не понравился Хрущеву заданный громким голосом вопрос: почему в Армении нет мяса? «“Как нет, как нет?! — закричал Хрущев. — А вот здесь находится такой-то...” И он назвал фамилию крупного армянского деятеля, который побледнел и встал, услышав свое имя». Однако Шагинян не сдавалась. И несколько дней спустя Хрущев с неудовольствием вспоминал «эту армянскую колбасу»³⁰.

«Литературная Москва» представляла собой внушительный двухтомник. Хрущев, обращаясь к председателю Союза писателей, назвал ее «грязной и вредной брошюрой» (выделено мной. — У. Т.) — из чего, говорит его помощник Игорь Черноуцан, стало ясно, что Никита Сергеевич альманаха «в глаза не видел». По утверждению драматурга Николая Погодина, на «Литературную Москву» Хрущева натравил его друг и наушник с киевских времен Александр Корнейчук: в одной из критических статей альманаха его творчество было названо «бесконфликтным и искусственным», и он решил отомстить. Корнейчук «такого не забывает и не прощает», говорил Погодин Черноуцану. «Единственное, о чем он забыл — объяснить Хрущеву, что в этой “брошюрке” несколько сотен страниц»³¹.

Позднее Хрущев отчасти понял, что стал жертвой дезинформации. Он даже наполовину извинился перед Черноуцаном. «Кажется, я вас обидел, — заметил он. — Почему же вы мне не сказали, что в этой “брошюрке” два тома? А, ладно, все это ерунда. Давайте-ка подумаем, как нам приободрить этих литераторов. Что, если в следующее воскресенье собрать всех московских писателей и артистов у меня на даче? Пусть погуляют, поудят рыбу, потом подадим им обед на свежем воздухе. Идите, распорядитесь»³².

В самом деле, не прошло и нескольких недель, как на даче у Хрущева был устроен грандиозный гала-пикник при участии кремлевского руководства. Около трех сотен гостей «катались на лодках, — рассказывает Аджубей, — а на тенистых полянах их ждали сервированные столики, отнюдь не только с прохладительными напитками. Легкий летний дождь, запахи травы и вкусной еды — все должно было настраивать на благостную беседу. Однако получилось иначе. Выступали многие известные писатели, актеры, художники, музыканты.

Каждый со своей болью. И чем больше эта боль выплескивалась, тем все большее возбуждение охватывало Хрущева»³³.

В некоторых рассказах об этой встрече утверждается, будто Хрущев был сильно навеселе; на наш взгляд, он был не столько пьян, сколько взволнован. Он старался держать себя в руках, даже сам покритиковал старорежимных «лакировщиков». Но затем снова обрушился на «Литературную Москву» и лично на Маргариту Алигер. «Вы идеологический диверсант! — орал Хрущев. — Отрыжка капиталистического Запада!»

— Никита Сергеевич, что вы говорите! — в ужасе восклицала маленькая, хрупкая Алигер. — Я же коммунистка, член партии...

— Лжете! — оборвал ее Хрущев. — Не верю таким коммунистам!..

Посреди этой перебранки хлынул дождь. Тенты едва не обрушились; высокопоставленных гостей прикрывала зонтами охрана, простые гости промокли до костей. Гремел гром, сверкала молния — а Хрущев все продолжал ораторствовать. Даже у Молотова вытянулось лицо. Микоян прошептал что-то на ухо Хрущеву, стараясь его успокоить. Наконец, едва держась на ногах, Алигер вышла из-за стола; от нее, словно от зачумленной, шарахались все, кроме писателя Валентина Овечкина³⁴.

Режиссерами этого сюрреалистического спектакля Черноуцан считает Корнейчука, Леонида Соболева, вскоре возглавившего особенно реакционный Московский союз писателей, и Николая Грибачева, тоже из «старой гвардии», которого Хрущев считал экспертом по вопросам эстетики. Так или иначе, поведение Хрущева дало еще один козырь его критикам в Кремле. Молотов открыто заявил свое недовольство тем, что Хрущев «втоптал женщину [Алигер] в грязь». Не то чтобы судьба Алигер его сильно беспокоила; гораздо сильнее не устраивало Молотова то, что Хрущев «постоянно и по любому поводу подчеркивал наши с ним разногласия. Особенно возмутило меня то, что все это говорилось перед беспартийными»³⁵. Каганович и Маленков также использовали этот инцидент против Хрущева. «Стенограммы за столом не вели, — замечает Каганович. — Вряд ли нашлась бы хоть одна стенографистка, которая сумела бы записать сказанное». В появлении этого «непревзойденного “шедевра ораторского искусства”», добавляет он, отчасти виноват алкоголь³⁶. По словам Микояна, и без того напряженные отношения в Президиуме «после встречи с писателями стали просто невыносимыми»³⁷.

Разумеется, отнюдь не грубость Хрущева по отношению к писателям вызвала попытку июньского заговора 1957 года — она послужила лишь одним из предлогов. Сам он позднее утверждал, что критика его поведения была «только поводом» для попытки восстановления сталинизма. Однако, хотя трое из заговорщиков (Молотов, Каганович и Ворошилов) в самом деле были сталинистами, остальных (Маленков, Сабуров, Первухин, Булганин и Шепилов) в этом обвинить было трудно; да и многие из сторонников Хрущева уже начали выражать недовольство его взрывным и непредсказуемым поведением.

Роль Молотова в заговоре неудивительна. Он сам вспоминал, что «постоянно был в оппозиции» к Хрущеву еще с 1954-го, в особенности после открытого столкновения в июле 1955-го, а в 1956—1957 годах их отношения только ухудшились. Хрущев не случайно назвал Молотова «идеологическим лидером» заговора: он противостоял Хрущеву по многим вопросам, но в особенности по вопросу десталинизации, которая угрожала и его убеждениям, и его благополучию³⁸.

У Кагановича также были причины ненавидеть своего бывшего протеже, которому приходилось теперь подчиняться. Однако с Молотовым они, вспоминал их бывший коллега по Политбюро Андрей Андреев, были «прямыми противоположностями». «Молотов не выносил Кагановича; все время совместной работы в ЦК они друг друга ненавидели». Что же касается Маленкова — основного «организатора» путча, по словам Хрущева, — его Молотов также терпеть не мог и еще в январе 1955 года поддержал Хрущева, проголосовав за его смещение. «Каганович был вечно недоволен Маленковым, — вспоминает Андреев, — и подозревал, что тот хочет его сбросить»³⁹. В отличие от Молотова и Кагановича, Маленков поддерживал инициативы Хрущева; однако он присоединился к заговору, поскольку другого выхода не видел. «Или мы их, или они нас», — сказал он Сабурову⁴⁰. К активным действиям Молотова, Маленкова и Кагановича подтолкнул сам Хрущев, заговоривший о том, что собирается осенью расширить Президиум: в этих словах они увидели предвестие грядущей чистки.

Ворошилов не играл в заговоре заметной роли. Номинально занимая высшую должность в государстве, реально он был декоративной фигурой, которую никто не принимал всерьез. По словам Хрущева, он был способен на самые дурацкие выходки — например, оскорбил иранского шаха в беседе с новым послом, заявив ему при вручении веритель-

ных грамот: «У нас тоже были цари, но мы Николая прогнали и с тех пор прекрасно без царей обходимся»⁴¹. К заговору он присоединился не только потому, что был искренним сталинистом и на руках его тоже было достаточно крови, но и из-за постоянных насмешек Хрущева. «Он просто в грязь втоптывает тех товарищей, которые с ним не согласны», — сетовал позже Ворошилов. Шепилов вспоминал, что Ворошилов одним из первых начал жаловаться ему на Хрущева. «Голубчик, — говорил ему Ворошилов, — этот человек оскорбляет абсолютно всех!»⁴²

Булганин также не был гением. «Пост председателя Совета министров не предназначен для идиота», — с усмешкой говорил Хрущев Мичуновичу после провала заговора⁴³. Знаменитая оперная певица Галина Вишневская вспоминает об «интеллигентной внешности и приятных манерах» Булганина: ей виднее, поскольку Булганин много лет преследовал ее своими домогательствами — в том числе и у себя на дне рождения, роскошном празднике, где гости говорили «громко и властно», пили «без удержу», «льстили Булганину, снова и снова называя его “нашим интеллектуалом”, потому что знали, что ему это нравится», и вспоминали о тридцатых годах как о золотом веке⁴⁴. Булганину тоже случалось делать промахи, приводившие Хрущева в ужас и негодование. Так, на приеме в Калькутте в 1955 году он сравнил Ганди с Лениным. «Когда он это сказал, я дрожал от гнева», — вспоминал Хрущев. А в 1956-м Булганин назвал верным ленинцем Тито. «Мы тогда осудили Булганина за это, о чем вы знаете из документов, которые рассылались. Конечно, Булганину это была заноза в сердце». В Финляндии, еще слишком хорошо помнившей войну с СССР, Булганин заметил, что из фермы, которую он посетил, получился бы отличный военно-наблюдательный пункт. «Я чуть не ахнул. Слушай, говорю, что ты говоришь. А он мне отвечает: ты гражданский, а я военный. Ну какой ты военный! Ты же должен думать, прежде чем говорить. Есть такая поговорка: в доме повешенного не говорят о веревке»⁴⁵.

Хрущев поддержал назначение Булганина главой правительства отчасти и для того, чтобы блистать на его фоне. Булганина коробили насмешки Хрущева, однако возражать он не осмеливался. С другими заговорщиками он никогда не состоял в дружбе (по крайней мере, так утверждал он сам), однако начал сближаться с ними по мере того, как росло общее недовольство. В сущности, для путча он был необходим. Как глава правительства (пост, который до него занимали Ленин и Сталин), он обладал ресурсами и информацией,

которые сильно облегли подготовку заговора. «Если бы не Булганин, — говорил позже Хрущев, — Сабурова и Первухина тоже там бы не было»⁴⁶.

Сабуров и Первухин не были близки к Хрущеву, а его план децентрализации угрожал их служебному положению. По признанию самого Первухина, он решился примкнуть к заговору 20 мая, после памятного пикника с писателями; эта сцена подтолкнула его к тому, чтобы сделать выбор⁴⁷. Сабуров «разогревался» дольше. В начале мая Булганин пожаловался ему, что председатель КГБ Серов следит за членами Президиума. Примерно в то же время Маленков предупредил Сабурова, что Хрущев намерен от него избавиться; тогда же они перешли на «ты». Однако Сабуров продолжал колебаться до самого начала активных действий — когда, как сказал ему позднее на пленуме Хрущев, «черт вас втянул в это дело»⁴⁸.

Шепилова Черноуцан характеризует как человека «образованного, разумного и культурного»⁴⁹. Сам Шепилов хвастал, что мог «безошибочно, очень ритмично и точно напеть около дюжины опер, включая все хоровые, женские и оркестровые партии»⁵⁰. В выдвижении Шепилова на высочайшие посты (от редактора «Правды» до секретаря ЦК, кандидата в члены Президиума, а затем — министра иностранных дел) сказались уважение Хрущева к интеллектуальной и культурной утонченности. Однако интеллигентность Шепилова болезненно напоминала Хрущеву о том, чего не доставало ему самому. Чувствуя это, Шепилов был осторожен: по словам Черноуцана, он «старался не высказывать своих суждений о литературе, чтобы угодить Хрущеву». На обеде с Тито в 1955 году Хрущев, рассказывая о чем-то, несколько раз просил Шепилова подтвердить справедливость своих слов. «Шепилов откладывал салфетку, — вспоминает Мичунович, — вставал из-за стола, рапортовал: “Точно так, Никита Сергеевич!” — и снова садился. Меня это очень удивило — особенно поразило то, что Хрущев это терпит»⁵¹.

Отношения Хрущева и Шепилова были не только необычными (Шепилов стал первым и единственным рафинированным интеллектуалом, которого Хрущев взял под свое крыло), но и достаточно близкими. Они работали вместе в ЦК и в Президиуме, а семья Шепилова по крайней мере один раз была в гостях на хрущевской даче. Высказывались предположения, что Хрущев считал Шепилова своим возможным преемником; если так, тем большим ударом стало его предательство. С тех пор Хрущев никогда уже не доверял высокообразованным помощникам, в которых так нуждался.

«Шепилов, наш “академик”, сыграл в этом деле самую гнилую роль, — говорил Хрущев на пленуме, последовавшем за попыткой переворота. — У всех есть свои слабости; моя — в том, что я поддерживал выдвижение Шепилова»⁵².

Сам Шепилов уверял, что «полюбил» Хрущева за широкую, демократическую натуру. Однако в 1957 году он начал записывать в свой блокнот жалобы Хрущева на коллег и коллег — на Хрущева, в том числе, как простодушно рассказывал сам Хрущев, «всякую дрянь и пакость», которая сообщалась ему «по секрету». После провала заговора союзник Хрущева Аверкий Аристов назвал Шепилова «политической проституткой»: «Надо было видеть, с каким цинизмом и сарказмом, с каким самодовольством он выступал в Президиуме — ни дать ни взять профессор, важная фигура; в своих выступлениях он чернил людей и бессовестно клеветал на них»⁵³. 18 июня, в день несостоявшегося путча, Шепилов зачитывал Хрущеву отрывки из своей записной книжки, чтобы показать, что думают о нем даже те, кого Хрущев считает своими союзниками. Шепилов был «одним из тех отвратительных людей, которые запоминают, кто что сказал, неважно где, а потом вытаскивают на свет и используют», — говорил первый секретарь Ленинградского обкома Фрол Козлов⁵⁴. «Знаете, что он обо мне говорил? — рассказывал потом Хрущев египетскому журналисту, с которым был в приятельских отношениях. — Что на встрече с президентом Финляндии я чесался, как завшивленный...»⁵⁵

В бесчисленных официальных постановлениях и пресс-релизах, посыпавшихся после провала заговора, основные заговорщики перечислялись в таком порядке: Молотов, Маленков, Каганович и «примкнувший к ним Шепилов» (в СССР еще долго ходила шутка, что «и примкнувший к ним Шепилов» — самое длинное русское сочетание имени и фамилии). По всей видимости, Шепилов примкнул к заговору в последнюю минуту, после нескольких бесед с Кагановичем, который, проживая с ним по соседству, несколько раз приглашал его погулять по лесу и во время этих прогулок убедил, что большинство — против Хрущева⁵⁶. Присоединившись к заговорщикам, Шепилов уже не чувствовал нужды щадить уязвимую психику своего патрона. «Все сводилось к тому, — вспоминал он много лет спустя, — что Хрущев был глубоко необразован, хотя имел голову на плечах. Но вместо того чтобы разобраться в предмете, он говорил: “Я нюхом чую”. А это непозволительно для руководителя — особенно для руководителя огромной страны». Или, по другому случаю: «Не может неграмотный управлять государством»⁵⁷.

«Вы сделали “экспертом” во всем — от сельского хозяйства до науки и культуры», — упрекал Хрущева Шепилов во время путча. Тогда Хрущев спросил, какое образование у самого Шепилова. Тот ответил: десять классов, четыре года в университете, еще три — в Институте красной профессуры.

— А я, — рявкнул в ответ Хрущев, — отучился всего две зимы, и за мою учебу отец заплатил попу двумя мешками картошки!

— Тогда с какой стати вы претендуете на всезнание?

В ответ на это, вспоминает Шепилов, «Хрущев заявил, что не ожидал услышать от меня ничего подобного и считает мои слова предательством»⁵⁸.

Итак, в заговоре участвовали восемь человек (семеро из которых составляли большинство членов Президиума). Маршал Георгий Жуков, как и Шепилов, был кандидатом в члены Президиума; ему отводилась такая же заглавная роль, как и при аресте Берии. После провала заговора Жуков обрушился на заговорщиков с жесточайшей критикой. Впрочем, он давно уже высказывал и недовольство действиями Хрущева. Еще в мае 1956 года, на кремлевском приеме для офицеров иностранных военно-воздушных сил, когда Хрущев, будучи, по-видимому, под хмельком, пренебрежительно отозвался о Великобритании и Франции, «Жуков и другие высокопоставленные лица, — писал позднее посол США Чарльз Болен, — не скрывали своего возмущения и открыто говорили, что эта реплика неуместна». После того как Хрущева деликатно удалили со сцены, Жуков обратился к Болену со словами: «Не обращайтесь внимания, это у нас обычное дело»⁵⁹.

Зная отношение Жукова к Хрущеву, Маленков попытался привлечь его на сторону заговорщиков. «Пора покончить с Хрущевым», — говорил ему Булганин⁶⁰. Шепилов, знавший Жукова с 1941 года, считал его своим самым близким другом в советском руководстве. Несогласны они были только в одном — в оценке личности Хрущева, и только тогда, когда Шепилов был «очарован» его «простотой и доступностью». «Весной 1957-го, — рассказывал Шепилов, — Жуков как-то обронил вскользь, что надо бы собраться и поговорить. Хрущев, сказал он, забрал себе столько власти, что от коллективного руководства ничего не осталось. Разговаривали мы на прогулках, зная, что везде — на дачах, в квартирах, в автомобилях — установлены “жучки”»⁶¹.

Шепилов обвинил в участии в заговоре также ставленницу Хрущева Екатерину Фурцеву⁶². Та практически подтвердила обвинение, заявив, что Шепилов «вел разговоры наедине [очевидно, с ней самой], настраивая людей друг против друга»⁶³. Если это так, очевидно, что, помимо большинства в самом Президиуме, заговорщики чуть не получили большинство среди кандидатов в члены Президиума (трое из пяти — Шепилов, Жуков, Фурцева). У Суслова — закоренелого сталиниста — также не было причин защищать Хрущева. На его стороне оставался один Микоян — да и тот, по некоторым сведениям, колебался. Свидетельство об этом Первухина, конечно, подлежит сомнению — однако то же самое подозревал и сам Хрушев. Позднее он рассказывал Мичуновичу, что Микоян сохранял нейтралитет, пока исход дела не стал ясен, и «если бы события пошли другим курсом, вполне возможно», что речь Микояна в ЦК «была бы приспособлена к такому обороту»⁶⁴.

У Микояна в самом деле имелись относительно Хрущева некоторые сомнения: Хрушев «был склонен к крайностям», «перебарщивал в какой-то идее», «проявлял упрямство и в своих ошибочных решениях или капризах», — однако Микоян по-прежнему считал, что Хрушев — «необработанный алмаз», который «быстро схватывает и быстро учится», что он «мужествен, настойчив и упрям». В 1957 году, вспоминал Микоян, он встал на сторону Хрущева, поскольку «Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества»⁶⁵.

Заговорщики, едва не отправившие Хрущева в отставку, подражали его тактике в заговоре против Берии. Сговорившись между собой, трое лидеров заговора (Молотов, Маленков и Ворошилов) начали сопротивляться инициативам Хрущева. 10 июня, пока Хрушев с Булганиным были в Финляндии, они подвергли критике его предложение закупать печатные станки в Австрии, а пять дней спустя воспротивились ему в другом вопросе, связанном с торговлей⁶⁶.

Соперники Хрущева не были новичками в интригах; они прошли много подковерных схваток — и по большей части выходили в них победителями. Если бы им удалось выиграть и эту — горе тем, кто отказался встать на их сторону! Впрочем, заговорщики рассчитывали не только на страх, но и на партийную дисциплину — не на устав, согласно которому Президиум и первые секретари ЦК избирались Центральным Комитетом, но на негласный порядок, согласно которому первого секретаря избирал сам Президиум, а ЦК толь-

ко скреплял его решение печатью. Соперники Хрущева составляли в Президиуме большинство — и не сомневались, что ЦК последует за ними. Правда, в ведении Хрущева были партийный аппарат, а также КГБ и армия (через Серова и Жукова), — однако они надеялись, что он уступит, как уступили они сами в 1955 году.

Капкан должен был захлопнуться 18 июня. Стремясь усыпить бдительность жертвы, заговорщики создали заседание президиума Совета министров, членами которого были большинство партийных руководителей (но не Хрущев). Официальным поводом стала предстоящая в следующем месяце поездка руководства в Ленинград на празднование 250-летия со дня основания города⁶⁷. Предполагалось, что непосредственно по ходу дела оно будет объявлено заседанием Президиума ЦК. Спрашивается: возможно ли, чтобы Хрущев не разгадал эту хитрость, которую сам несколько лет назад использовал против Берии? Неужели он не понимал, что готовят ему враги? Или, может быть, расставив собственную ловушку, сознательно провоцировал их на решительные действия?

В феврале 1957 года обком Ярославской области сообщал о слухах, что «товарища Хрущева назначат министром сельского хозяйства, а первым секретарем партии будет товарищ Маленков». Доходили до ЦК и смутные разговоры московских чиновников о «больших переменах на самом высоком уровне, грядущих в ближайшем будущем»⁶⁸. Разумеется, отзвуки заговора не могли не дойти до КГБ. Неужели Хрущева не насторожило, что старые враги, прекратив ссоры между собой, дружно голосуют против его инициатив? Неужели не встревожило даже то, что произошло на свадьбе сына?

На свадьбе Сергея Хрущева 16 июня присутствовало все партийное руководство. Отец, вспоминает Сергей, «не смог удержаться», чтобы не похвастать предстоящим событием — а раз уж он об этом упомянул, обычай требовал, чтобы его коллеги по Президиуму «почтили церемонию своим присутствием». К огорчению Нины Петровны, толпа гостей не поместилась в просторной столовой и столы были накрыты на веранде. Сергей был поражен поведением Маленковых: они приехали с большим опозданием, выглядели угрюмыми и, в противоположность своим прежним роскошным подаркам — набору чертежных инструментов в полированной деревянной шкатулке, которую они преподнесли Сергею по случаю поступления в университет, и набору увеличительных стекол, подаренному позднее, — вручили новобрачным дешевый будильник с нарисованным на циферблате слоном. Можно еще понять, почему Хрущев не обратил на это вни-

мания — но были и другие детали. Когда Хрущев, произнося пространную речь (в которой восхвалял в основном собственную мать), задел Булганина, премьер-министр «отреагировал яростно. Он просто взорвался. Начал орать, что никому больше не позволит себе указывать и затыкать себе рот, что скоро всему этому придет конец». По окончании свадебного обеда, вспоминал Жуков, Молотов, Маленков, Каганович и Булганин демонстративно поднялись из-за стола и уехали на дачу к Маленкову⁶⁹.

Помощник и союзник Хрущева Петр Демичев настаивал, что Хрущев знал о заговоре. «Кто ему сообщил, трудно сказать — возможно, сам почувствовал. Уже 1 мая, когда все партийное руководство собралось на даче у Булганина, очевидно было, что присутствующие настроены против Хрущева. Хрущев не мог этого не заметить — в этом отношении он был достаточно чувствителен»⁷⁰. Так ли? Быть может, он просто не мог поверить, что кто-то способен отнять у него завоеванные наконец власть и славу?

18 июня, когда Хрущев находился у себя в резиденции на Ленинских горах, ему позвонил Булганин и попросил приехать на заседание Совета министров. Поначалу Хрущев не хотел ехать (совсем как в октябре 1964 года, когда Брежнев вызвал его из Пицунды), говорил, что с поездкой в Ленинград уже все решено и обсуждать тут нечего; но во второй половине дня все же поехал в Кремль. Присутствовали восемь членов Президиума из одиннадцати. Ставленник Хрущева Алексей Кириченко в этот момент произносил речь на заседании ЦК компартии Украины; он едва успел закончить, когда ему позвонили и приказали немедленно лететь обратно в Москву. Сабуров был в Варшаве — предусмотрительно нашел способ удалиться в решающий момент, якобы по семейным обстоятельствам. Суслов отдыхал за городом, но также прибыл в Москву, как только ему позвонили. Из семи кандидатов в члены Президиума присутствовали Шепилов, Брежнев, Фурцева и Николай Шверник. Через час прибыл из Солнечногорска Жуков; намного позже — Козлов и Мухитдинов, соответственно, из Ленинграда и Узбекистана. Отсутствовали секретари ЦК Николай Беляев и Пospelов, не входившие в Совет министров, а также секретарь ЦК Аристов, который был болен⁷¹.

Первым заговорил Маленков: он предложил обсудить поведение Хрущева и потребовал, чтобы заседание вел не Хрущев, а Булганин. (Педантичный Молотов замечает, что

председательствование Хрущева на заседаниях Совета министров вообще было против правил: эту обязанность всегда исполнял предсовмина — Ленин, Рыков, сам Молотов, а затем Сталин⁷².) Нетрудно вообразить реакцию Хрущева, когда появился Жуков: Маленков все еще дрожал, а Хрущев лупил кулаком по зеленому сукну стола с такой силой, что стакан Жукова подпрыгивал. Но против предложения Маленкова выступили только Хрущев и Микоян — и оказались в меньшинстве.

Булганин занял место председателя собрания — что само по себе было для Хрущева оскорблением, — и противники Хрущева начали высказывать все, что у них наболело. Маленков утверждал, что Хрущев совершает «одну ошибку за другой». Ворошилов назвал Хрущева «невыносимым» и потребовал его отставки. Каганович объяснил стремление Хрущева пересмотреть итоги 30-х годов его колебаниями в пользу троцкистов в 1923-м. «Чья бы корова мычала, а твоя — молчала», — заметил он, в ответ на что Хрущев рявкнул: «Что ты все намекаешь?! Мне это надоело!!» К этому обвинению присоединился и Молотов. Добавили свою лепту Булганин и Первухин. По рассказу Кагановича, Молотов старался урезонить Хрущева и отчасти в этом преуспел. Хрущев отверг большинство обвинений, однако некоторые признал и даже обещал исправить свои ошибки. Вместе с Микояном они потребовали отсрочки заседания до появления всех членов и кандидатов в члены Президиума. Решено было продолжить заседание завтра. Хрущев тяжело переживал свое поражение⁷³. На приеме в болгарском посольстве в тот же вечер он выглядел «озабоченным, даже подавленным». Обычно разговорчивый — тут он был «мрачен и молчалив»⁷⁴. В тот же вечер первый секретарь ЦК компартии Украины Кириченко попытался подготовить своего босса к неизбежному, как казалось, поражению: «Что ж, будете жить на Украине. У вас там будет дом и дача». Помощник Хрущева Андрей Шевченко вспоминает: «Он был в отчаянии, его буквально трясло»⁷⁵. Некоторые видели, как он плакал⁷⁶. Жуков позже вспоминал, что Хрущев буквально умолял спасти его, обещая, что никогда этого не забудет⁷⁷.

Он не остался в одиночестве. Несмотря на свои сталинистские настроения, на сторону Хрущева встал Суслов — возможно, убежденный Микояном, что в конце концов победа останется за ним⁷⁸. Кириченко, Брежнев и Фурцева также поддерживали своего патрона. Сабуров вернулся из Варшавы в два часа ночи; Микоян немедленно позвонил ему, и на следующее утро они встретились. Однако Сабуров

примкнул к лагерю противников Хрущева⁷⁹. Хрущев позвонил Булганину: «Друг, приди в себя. Куда тебя занесло? Они тебя втянули в это дело, чтобы использовать в своих целях... Брось их». И это был не единственный звонок. «Николай, — говорил Булганину Маленков, — держись! Будь мужчиной! Не отступай!»⁸⁰ Булганин колебался, не зная, что предпринять.

Девятнадцатого числа, войдя в зал заседаний, Хрущев и Булганин первым делом начали спор за председательское место — спор, семью голосами против четырех решенный в пользу Булганина. Если считать как секретарей ЦК, так и кандидатов, у Хрущева было большинство — одиннадцать против семи; однако кандидаты не имели права голоса. Маленков и его союзники продолжили ту же игру, что и в первый день. Каганович заявил, что Хрущев «всю страну перевернул вверх дном» и ничего хорошего не сделал. В ответ кандидат в члены Президиума Шверник назвал заговорщиков «антипартийной группой» — ярлык, напоминавший об «уклонистах» недоброй памяти тридцатых годов. Как может большинство в партии быть «антипартийной группой»? — парировал Каганович. В какой-то момент, когда Каганович набросился на Брежнева и других кандидатов, спрашивая, как они смеют противоречить старшим и более опытным товарищам, Брежнев побелел и рухнул в обморок; охрана вынесла его из зала заседаний и уложила в соседней комнате, а кремлевские врачи привели в чувство⁸¹.

Весь день антихрущевское большинство твердо удерживало свои позиции. После заседания, когда заговорщики собрались в кабинете у Булганина, еще ничто не предвещало беды; однако вечером на приеме в югославском посольстве Булганин был мрачен и угрюм — никогда еще, пишет Мичунович, он не появлялся «в таком дурном настроении, казалось, забыв о своей обычной вежливости, в любой момент готовый к ссоре». Что же касается Хрущева — он вел себя «почти как всегда», старался быть «настолько веселым и любезным, насколько возможно в такой ситуации»⁸². Булганин понимал, что затягивание борьбы уменьшает его шансы: чем дольше длится неопределенность, тем легче Хрущеву перетянуть на свою сторону колеблющихся и мобилизовать ЦК, перед которым Президиум формально ответствен.

В ту ночь обе стороны вели отчаянные маневры. Микоян и Жуков давили на Булганина, Первухина и Сабурова, уговаривая их покинуть тонущий корабль. Помощники Хрущева составили письмо за подписями двадцати членов ЦК с требованием собрать пленум. С помощью КГБ и армии сто-

ронники Хрущева подготовили доставку членов ЦК в Москву. За председателем Оренбургского обкома Геннадием Вороновым был послан специальный самолет. Мухитдинову позвонили, когда он осматривал овцеводческое хозяйство в Ферганской долине. Со всей страны срочно летели в Москву на специальных самолетах члены ЦК. Это было «как битва за урожай», — вспоминал позднее Андрей Шевченко. «Это был настоящий фракционный акт, ловкий, но троцкистский, — говорил позднее Каганович. — Но мы вели критику Хрущева по-партийному, строго соблюдая все установленные нормы!»⁸³ Разумеется, в тридцатых годах Каганович (как и сам Хрущев) неоднократно нарушал все партийные правила — однако теперь заговорщики, понадеявшись на «законопослушность» Хрущева, не заручились поддержкой вне Президиума. Они не подумали о том, что многие члены ЦК заняли свои нынешние должности благодаря Хрущеву — и, разумеется, будут на его стороне.

20 июня «антипартийная» группа начала отступление. Они уже не требовали полной отставки Хрущева — предлагали только, чтобы он снял с себя должность первого секретаря. Ближе к вечеру в Москве собрались 87 членов ЦК: вместе с членами Президиума и секретарями ЦК они составляли 107 человек (полный состав ЦК — 130). В 18.00 20 из них привезли в зал заседаний Президиума петицию с 57 подписями. Хрущев, разумеется, распорядился их принять. Его противники кипели гневом и досадой. «Как будто бомба взорвалась», — вспоминал об этом Жуков. Делегацию вместе с председателем Горьковского обкома Николаем Игнатовым возглавляли маршалы Конев и Василевский; это вызвало крики о том, что «мы окружены танками», но и возымело «успокаивающий» эффект. После часа препирательств Президиум выслал нескольких человек встретить делегацию. В коридоре Ворошилов ткнул пальцем в грудь Александру Шелепину и рявкнул: «Ты, мальчишка, еще из коротких штанишек не вырос, а туда же!» Дело было почти проиграно. Президиум согласился назначить на завтра внеочередной пленум Центрального Комитета⁸⁴.

Пленум, начавшийся 22 июня в два часа дня, продолжался до 28-го. Соперники Хрущева с самого начала поняли, что их дело проиграно. Некоторые еще пытались сопротивляться, но большинство сдалось сразу. В конце пленума только Молотов отказался проголосовать за собственную отставку. В этом смысле все прошло гладко. Однако пленум

без преувеличения можно назвать одним из самых необычных в истории СССР — чтобы расправиться со своими врагами, Хрущев использовал здесь тему преступлений Сталина, и нынешние его речи не шли ни в какое сравнение с секретным докладом 1956 года. На этот раз докладчики не только называли число казненных, но и имена виновных в бессудных расправах. Молотов, Маленков и Каганович по большей части пытались защитить себя — однако их попытки вызывали у Хрущева ярость.

Вопреки партийному уставу, меньшинство Президиума (то есть прохрущевская группа) подготовило программу пленума, даже не сообщив об этом большинству⁸⁵. Собственно говоря, большинству и не давали слова: оппозиционерам были позволены только короткие выступления и реплики, причем с Молотовым, который упрямо продолжал защищаться даже после того, как все остальные сдались, решили разбираться в самом конце. Открыл пленум Хрущев, общее обвинение против «антипартийной» группы огласил Суслов. С наиболее серьезными разоблачениями выступил Жуков. Так было решено заранее, возможно, потому, что герой Великой Отечественной был наиболее популярным членом Президиума; и Жуков выполнил свою задачу с силой и энергией, поразившими даже его союзников⁸⁶.

Он назвал Маленкова, Кагановича и Молотова «главными виновниками» «арестов и казней партийных и государственных кадров». Только в период с 27 февраля по 12 ноября 1938 года, заявил он, Сталин, Молотов и Каганович лично подписали 38 тысяч 679 смертных приговоров. В один день — 12 ноября 1938-го — Сталин и Молотов 3 тысячи 167 человек «как скот, по списку гнали на бойню». Страшные списки составлялись неаккуратно, фамилии в них приводились с ошибками, иные — по нескольку раз. Жены «врагов народа» также получали «пулю в затылок». Командарм Якир (бывший другом Хрущева) умолял Сталина о милосердии, рассказывал Жуков. Сталин написал на его прощении: «Подлец и проститутка». «Совершенно точное определение», — добавил Молотов. «Мерзавец, сволочь и б..., — добавил Каганович. — Одна кара — смертная казнь». Вина Маленкова, продолжал Жуков, еще больше, поскольку он по должности обязан был контролировать работу НКВД. «Если бы только народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, то он встречал бы их не аплодисментами, а камнями». Однако речь идет не только об этих вождах. «...Виновны и другие товарищи, бывшие члены Политбюро. Я полагаю, товарищи, что вы знаете, о ком идет речь, но вы знаете, что эти

товарищи своей честной работой, прямою заслужили, чтобы им доверял Центральный Комитет партии, вся наша партия, и я уверен, что мы их будем впредь за их прямоту, чистосердечные признания признавать руководителями. (*Бурные аплодисменты.*)»⁸⁷ Речь, разумеется, шла о Хрущеве: Жуков обвинил его, чтобы затем оправдать. Нетрудно догадаться, какие чувства переживал Хрущев во время этого неожиданного пассажа.

Маленков, обвиненный в создании «ленинградского дела» 1949 года, начал отрицать, что имел к нему какое-либо касательство. «Неправда!» — выкрикнул Хрущев. «Ты у нас чист совершенно, товарищ Хрущев!» — саркастически отвечал Маленков. «Все Политбюро», настаивал Каганович, подписывало смертные приговоры, а в «тройках» состояли местные партийные руководители (и в их числе — Хрущев). «А кто установил систему троек?» — парировал Хрущев. «Неужели вы не подписывали расстрельные списки на Украине?» — воскликнул Каганович. «Да ладно вам! — отвечал Хрущев. — Или вы думаете, что НКВД и судебные органы стали бы слушаться приказов партии? Да меня самого обзывали польским шпионом!» — «Как и меня, — огрызнулся Каганович. — Но я защитил сотни тысяч... А вы, товарищ Жуков, как командир дивизии, неужели ничего не подписывали?» Жуков: «Я ни одного человека не послал на казнь». Хрущев: «Да, мы все давали согласие. Я сам голосовал против Якира и потом много раз называл его предателем. Потому что сам в это верил, верил, что он предатель и злоупотребил нашим доверием. Я этих обвинений не проверял, а вот вы [Каганович], думаю, проверяли. Вы ведь тогда были членом Политбюро. Вы не могли не знать»⁸⁸.

Если не считать этих перебранок, Маленков и Каганович почти не оказали сопротивления. Булганин, Сабуров и Первухин молчали. Только Молотов защищался отчаянно, несмотря на свист и проклятия в зале. Не было никакого заговора, заявил он, и, разумеется, никакой «антипартийной» группы — была лишь справедливая критика. Хрущев сам виноват: он монополизировал все вопросы, обращается с остальными словно с «мальчиками для битья», коллег честит «выжившими из ума стариками», «дуралеями» и «карьеристами». Тому, что самые разные люди объединились против Хрущева, продолжал Молотов, причиной его «высокомерие». «Он от всех требует скромности, но для себя ее считает излишней. [*Шум в зале.*] Когда мы выбрали его первым секретарем, я думал, что он останется таким же, как был; но он очень изменился и становится все хуже и хуже».

Жуков напомнил Молотову о его участии в преступлениях Сталина. «Я признаю свою ответственность, — ответил Молотов, — наряду с другими членами Политбюро». — «А кто требовал пытать арестованных, чтобы добиться от них фальшивых признаний?!» — крикнул Хрущев. «Все члены Политбюро», — твердо отвечал Молотов. «Но вы были вторым человеком после Сталина, — продолжал Хрущев, — значит, несете основную ответственность, а после вас — Каганович». — «Я, — отвечал на это Молотов, — возражал Сталину чаще, чем вы все, вместе взятые, и, уж конечно, чаще, чем вы, товарищ Хрущев»⁸⁹.

Шепилов настаивал, что пленум должен рассмотреть критику в адрес Хрущева, а не клеймить оппозиционеров. Позднее Хрущев назвал его речь «омерзительной» и сообщил Мичуновичу, что она встретила «особенно суровый прием»⁹⁰. Только Микоян отчасти поддержал критику: у Хрущева, сказал он, в самом деле «есть горячность, поспешность, он говорит резкости, но он их от души говорит, без интриганства», в то время как «группа товарищей использовала отдельные недостатки Хрущева для того, чтобы решать свои политические задачи». Он защитил Хрущева от обвинений в пьянстве на дипломатических вечерах (он «больше других не пьет», сказал Микоян) и в неуместных во время дипломатического визита ночных развлечениях в финской сауне («Что Хрущев пошел в баню мыться — это был признак уважения Кекконену, а не потому, что ему нужна была баня и негде было вымыться»). Другие союзники Хрущева защищали его деятельность при Сталине. Аристов цитировал речи Молотова и Кагановича 1937 года, полные призывов к расправам, — но ни словом не упомянул о таких же речах своего патрона. «Товарищ Хрущев, — заключил Аристов, — никогда не предлагал никого арестовать или расстрелять». Когда Фрол Козлов заговорил о «ленинградском деле», Хрущев с места крикнул Маленкову: «Твои руки, Маленков, в крови, совесть твоя не чиста. Ты подлый человек!»⁹¹

Наконец, после шести дней бурных обсуждений (завершившихся «покаянием» оппозиционеров, позволивших публично втоптать себя в грязь) сам Хрущев взял слово, чтобы подвести итоги. Каганович, 18 июня рычавший, «как африканский лев», теперь похож на «битого кота». «И вдруг Булганин оказался в этой навозной куче». Первухин — «это сплошные колебания во всех вопросах... в политике это флюгер, а то и хуже... Но какую гнусную роль сыграл здесь “академик” Шепилов!.. на деле получилось, что он оказался грязным сплетником и интриганом... Разве это политики? — вопрошал

Хрущев, обращаясь к своим противникам. — Нет, это жалкие интриганы». Единственный из оппонентов, кого хотя бы есть за что уважать, заключил он, — это Молотов.

Однако, продолжал Хрущев, «Молотов всегда был ближе всех к Сталину и по существу долгое время при жизни Сталина был вторым лицом в нашей стране...». Когда Хрущев начал цитировать молотовский панегирик Сталину по случаю его 60-летия в 1939 году, Молотов крикнул с места: «Почему о своих речах не расскажете?!» — «Кто вынуждал вас так глумиться над людьми? — парировал Хрущев. — Ведь вы писали не под диктовку Сталина, а хотели угодить Сталину, вот, мол, какие мы бдительные. С усмешкой и издевательством посылали ни в чем не повинных людей на смерть. Остались в живых матери, жены и дети невинно расстрелянных. Или пролито целое море слез. Многие родственники просят теперь дать им возможность хотя бы посмотреть на фотографии своих мужей, отцов, так как их принудили уничтожить все, что относилось к репрессированным людям... Как вы можете спокойно смотреть в глаза оставшимся в живых родственникам?»

А сам Хрущев? Как он смотрел им в глаза? Почему считал себя чище своих коллег? Потому что подписывал меньше смертных приговоров? Или из-за того, что не царапал на них ругательства? Его оппоненты по крайней мере покаялись — хоть и неискренне — в своих грехах. Маленков в конце концов признал свою вину, осудив «ленинградское дело», и выразил готовность «понести ответственность». Молотов заявил, что «никогда не снимал политической ответственности за... ошибки» 1937 года. («Преступления!» — крикнул кто-то с места.) Каганович также назвал свою ответственность политической. «И уголовной», — добавил Жуков⁹². Хрущев огласил страшные цифры — только в 1937—1938 годах было арестовано более полутора миллионов человек, из которых 681 тысяча 692 расстреляны, — но не признал своей вины. Да, он «призывал народный гнев» на своих друзей Якира и Корытного — но лишь потому, что верил в их виновность. «Я понимаю страдания этих людей. И верю, что виновные за это ответят. Если бы рядом со Сталиным не было двух злых гениев, Берии и Маленкова, многое можно было бы предотвратить».

На июльском пленуме 1957 года сталинские палачи были ближе всего к возмездию. Однако новый «нюрнбергский процесс» так и не состоялся — прежде всего потому, что прокуроры и судьи сами были виновны. Не было ни фор-

мальных обвинений, ни показаний свидетелей, ни выступлений защиты — если не считать перебранок обвиняемых с обвинителями — и даже стенограмма пленума была засекречена в течение почти сорока лет. В официальное заявление ЦК поначалу был включен короткий абзац о «массовых репрессиях» в тридцатые годы, однако затем его сочли чересчур смелым и вырезали. Поступившее предложение опубликовать документы, процитированные Жуковым, проигнорировали. Соперники Хрущева были публично унижены и потеряли высокие посты, однако остались членами партии. О грехах Булганина, Ворошилова, Первухина и Сабурова речь вообще не шла.

В последующие годы Хрущев снова и снова с удовольствием вспоминал свою «победу»; однако, говоря откровенно, триумфального в ней было немного. Алексей Косыгин, сменивший Хрущева на посту премьер-министра в 1964 году, на вопрос, почему он поддержал в то время Хрущева, ответил: «Если бы победил Молотов, снова пролились бы потоки крови»⁹³. Между тем заговорщики, от которых ожидали возобновления террора, не смогли даже подготовить и успешно провести переворот. И сам Хрущев во время бурных дебатов в Президиуме воскликнул: «Что вы все о Сталине да о Сталине! Да все мы вместе не стоим сталинского г...!»⁹⁴

Это поразительное признание, принижающее не только соперников Хрущева, но и его самого, показывает, что он так и не сумел преодолеть психологическую зависимость от мертвого тирана. Разделавшись с соперниками, Хрущев вместо того, чтобы покончить с «вождем», принялся его воскрешать. 15 июля 1957 года Мичунович записывает в дневнике: «Похоже, происходит то же, что после речи о Сталине на XX съезде. Как будто люди боятся собственных антисталинистских решений. Хрущев... теперь говорит то же, что прежде говорили члены “антипартийной” группы».

Возможно, добавляет Мичунович, Хрущев старался «привлечь на свою сторону единомышленников Молотова в СССР и странах “социалистического лагеря”, и таким образом... “сохранить единство” партии и страны»⁹⁵. На XX съезде Хрущев стремился отделить социализм от преступлений, совершенных Сталиным во имя социализма. Однако бурные события 1956—1957 годов показали ему, что полная дискредитация Сталина может повлечь за собой крушение социалистического строя — и его собственной власти.